

## ДВА ЭССЕ

### ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ

Это если постоять на Малой Морской у дома Чайковского, посчитать окна Пиковой дамы. 66 ровно.

«...И взошел в ярко освещенные сени». Не знаю, не знаю – старуха была скупа – ну канделябр – ну два канделябра. Как бы то ни было, факт, что попадаешь в пространство именно тусклое, даром что электричество – штука безусловно посильней свечного сала. Обступающие поверхности – сверху, снизу, со всех сторон – столь убоги, что не выдерживают человеческого взгляда, и раскрашены так, чтобы не оставалось ни малейшей надежды. А впрочем, надо еще преодолеть турникет. «Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его».

Поликлиника, поликлиника. На двух этажах – два коридора насквозь. Дюжины три дверей. Без сменной обуви категорически. Между прочим, забора крови сегодня не будет. Не больно-то и хотелось. Перепишем со стены полезные советы – «Как жить, чтобы не болеть»: «Во-первых, избегайте стрессовых ситуаций, насколько это возможно...»

Это вывешено возле кабинета кишечных инфекций. А Германн, на свою беду, свернул в другое крыло – где принимают терапевты и ревматолог.

Непонятный человек. Или, скажем так, неудобопонятный.

К тому же страшно нетипичный. Потому что чертовски богат. То-то и водится с конногвардейцами, с Нарумовыми да Томскими.

Почти что Монте-Кристо: носит при себе сорок семь тысяч целковых одной бумажкой. Офицеров с такими деньгами в вооруженных силах Николая I было, думаю, очень немного. Полковые командиры, в чинах генеральских, получали от силы тысяч пять в год. А Германн, небось, – инженер-подпоручик. Как Достоевский.

Как Достоевский, который молил опекуна присылать ему хотя бы десять рублей в месяц.

Про штатских вообще не говорю. Сделаться когда-нибудь столоначальником и зашибать тысячу в год было для канцеляриста Гоголя сияющей мечтой.

А тут – полста тысяч! Пушкин сам-то такого нала не держал в руках отродясь.

За границей Герцен, владея почти такой же точно суммой (выгодно вложив ее в разные акции), спокойно содержал семью и революцию. Потому что курс рубля начал падать только в конце 60-х (когда Салтыков и предсказал, что скоро за рубль будут давать не пять франков и не три, а прямо в морду).

Спрашивается, кто мешал г-ну Германну репатриироваться на историческую родину, приобрести недвижимость и надежные ценные бумаги? А не то, наоборот, в России немножко еще послужить (например, на строительстве магистрали Петербург-Москва), выйти в обер-офицеры, дворяне и баре, купить именье и спокойно повышать производительность крепостного труда?

Ведь он же не честолюбец и не утопический филантроп. Деньги для него – воплощают всего лишь личный покой.

«Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

(Уже бродят в мыслях: и тройка, и семерка; покой, конечно, – туз.)

Желает монетизировать свою будущность. Обустроить единоличный пенсионный фонд. Ради чего расхаживает зимой в одном сюртуке и отказывает себе в бытовых удобствах. Как вульгарный жадина. Торопливый. Неразборчивый. Готовый на подлость. Или на две – например, не только сыграть в карты без риска, но и сделаться ради этого любовником восьмидесятисемилетней старухи. Даже на три: скажем, завести романчик с девицей, чтобы проникнуть в чужой дом, – а в случае чего, ее же и подставить – типа я не вор, а мне назначено свиданье.

То есть знакомую нам всем нормальную хроническую тревогу человека без денег Пушкин передал человеку при деньгах.

И этот-то человек – не в проигрыше, не в несчастье, вообще отнюдь не на краю – валяется в ногах у чужой тетки, произносятся такие слова: умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, – всем, что ни есть святого в жизни... не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Тут подлость, как это с ней бывает, впадает в пошлость. До правнуков, кажется, и Чичиков не доходил. Не говоря уже о том, что его афера несравненно смелей и остроумней. Зато и бизнес-план в абсолютных цифрах скромней.

Хотя и Германн, в сущности, плавает мелко. Подумаешь, 700 процентов. Прибыль, спору нет, знатная. Но как-то не впечатляет. Эффект – это когда не было ни гроша, да вдруг миллион. А сделать из 47 тысяч – 376, – при капитализме (даже слаборазвитом) не такой уж фокус, чтобы из-за этого обнажать ствол, падать в обмороки, смотреть кошмары.

Но фараон или, допустим, штосс – это вам не рулетка. Сорвать банк, поставив какой-нибудь пустяк, – не получится. В трех талиях максимальный для понтёра результат – эти самые 700 процентов, или «сетельва» (sept-et-le-va). Чтобы игра стоила свеч (чтобы, значит, все столпились вокруг стола и затаили дыхание), Пушкин должен был сунуть в карман герою банковский билет на первый куш.

И преплоский оказался бы анекдот, не сойди герой с ума.

Да только он не сходит. Он болен уже на первой странице. В «Пиковой даме», назло модным ужасикам, над которыми повесть смеется, – безумие не подслащено, не подсвечено мелодрамой (почему Петру Чайковскому и пригодился Модест).

Самое важное случается не в игорной зале. И не в спальне графини (где ревматолог). А в темном кабинете (где терапевт): помните, Германн там стоит, прислонясь к холодной печке?

На витой лестнице (ведущей в стоматологию) и в комнате Лизаветы Ивановны (гинекологический кабинет).

Внезапная фраза – переворачивающая сюжет и сердце! – «Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал»!

Их разговор при догорающей свече.

И как он поцеловал ее наклоненную голову.

Спустился по витой лестнице, отпер боковую дверь, вышел на поперечную улицу.

Эта дверь теперь укреплена раздвижной стальной решеткой.

А улица – Гороховая. В ста шагах разместилась ЧК. С ненормированным рабочим днем. Городской транспорт практически не действовал. Сотрудники питались и освежались сном прямо в учреждении. Понадобилось, предполагаю, что-то вроде ведомственной гостиницы. Отчего бы и не к покойной Даме пик? Только обои ободрать да мебель изрубить. (Участь ковров гадательна.) Когда благосостояние конторы возросло, передали здание на милицейский баланс. И стала из спецобщезития – спецполиклиника.

В конце одного коридора – старинный столик, на нем зеркало. И на площадке парадной лестницы – тоже зеркало, громадное, в раме со следами позолоты. Такие же следы – на перилах. И на двух-трех красного дерева филленчатых дверях – резьба: длинные стебли, круглые цветы.

Остальная обстановка – без качеств, поэтому не поддается эпитетам. Только страшно не хочется, чтобы вечность выглядела именно так.

Пространством называется то, что окружает тела. Временем – то, как они исчезают.

## ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИВИДЕНИЯ

Вот и с Башмачкиным известное несчастье случилось тоже на Сенной. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света». Другой такой петербургской картинке на бегу от центра к окраине больше нигде было увидеть в том столетии: точно – Сенная! Так что будьте осторожны, водители автомашин, миновав эту площадь: в переулках, разбегающихся от Садовой улицы к Фонтанке и Мойке, а также и на набережных каналов – Екатерининского и Крюкова – не вздумайте тормозить, если в зеркале заднего вида вдруг покажется, страшно приблизившись, бледное, как снег, несчастное лицо. Не тормозите и ни в коем случае не приоткрывайте дверцу. Жмите, наоборот, на акселератор, или как он там у вас называется. Потому что в этих местах обитает городское привидение – Маленький Человек. Он попытается, пахнувши на вас могилую, завести такую речь: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!» В этом случае улепетывайте, не отвечая, не оглядываясь. И сразу же, сразу же позабудьте то ужасное, что он прокричит вам вслед, эти роковые четыре слога...

### Дело в шляпе

На самом-то деле не надобна ему наша верхняя одежда. «Шинель» – это так, для завязки разговора, вроде как пароль. Так уж получилось, что Маленький Человек при первом своем появлении в нашем городе (вернее – в нашем уме) выпал, с позволения сказать, из шинели:

Итак, домой пришед, Евгений

Страхнул шинель...

Дело было 6 ноября (1824) – то есть в такое время года, что и по новому стилю холодно. А вообще-то главный аксессуар Маленького Человека – отнюдь не шинель. Есть в его обиходе предмет гораздо необходимей, отсутствие которого – сигнал бедствия, социального либо стихийного:

...Он не слышал,  
 Как подымался жадный вал,  
 Ему подошвы подмывая,  
 Как дождь ему в лицо хлестал,  
 Как ветер, буйно завывая,  
 С него и шляпу вдруг сорвал...

Прибавив незабываемое деепричастие «пришед», получаем словесный портрет Маленького Человека, позволяющий опознать его на любой старинной литографии: это пешеход в шляпе. Тот, кто, подобно абсолютному большинству, передвигается по стогнам столицы в любую погоду не иначе как на своих двоих, – но выделяется из толпы головным убором: это не фуражка, тем паче не картуз, и Боже упаси – не шапка.

В шапках щеголял в XIX веке так называемый народ, на первых порах отличаясь от Маленького Человека также и тем, что не возбуждал в литературе сострадания. Когда Александр Башуцкий, первый русский социолог (между прочим, камергер и действительный статский советник) напечатал (1842) очерк, в котором намекнул, что разносить воду по петербургским квартирам – ничуть не легче и не прибыльней, чем, например,

переписывать канцелярские документы, и, если вдуматься, оброчный крестьянин, занятый подобным бизнесом, влечит еще более печальную жизнь, чем какой-нибудь Акакий Акакиевич, – социолога распек не только Бенкендорф, но и сам Белинский! Нечего, мол, выдавать правду факта за правду жизни. И вообще – с чего вы взяли, будто человеку в шапке бывает больно существовать?

«Может быть, в Петербурге и найдется один такой водовоз-горемыка, какого описал автор; но в каком же звании не бывает *горемык*? – А между тем никто не скажет, что каждое сословие состоит из одних горемык. Автор описывает водовозов хилыми, хворыми, бледными, больными, искалеченными. Мы, тоже имевшие и имеющие с ними дело, подобно всем петербургским жителям, привыкли видеть в водовозе мужика рослого, плечистого, крепкого, для которого лошадиная тяжесть – нипочем... Не бойтесь за него, видя, что он всегда на воздухе, на холоду, на сырости: оттого-то именно он в 80 лет и будет здоровее, чем вы в восемнадцать... Не приходите в ужас, видя, что он живет в такой конуре, где у вас закружится голова и жестоко оскорбится обоняние: это его вкус, его привычки; дайте ему пожить в ваших великолепных комнатах только три дня – он сделает из них свой подвал... Водовоз много и тяжело трудится: да кто ж мало и легко трудится? Уж, конечно, не я, бедный рецензент...»

Тут не без лукавства: в действительности русская литература давно уже открыла именно сословие горемык – и олицетворила его в Маленьком Человеке. И облила его первыми слезами гуманности: бедный, бедный мой Евгений! низенький чиновник с лысинкою на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»...

### Переписывающее существо

Место жительства и род занятий?

– Живет в Коломне, где-то служит...

В смысле – переписывает бумаги. Копирует. Размножает.

То есть тоже трудится, и много – часов шесть в день, а то и восемь.

Государство требует от него чистописания и прилежания, ничего больше, – а взамен наделяет правом носить шляпу, каковой головной убор обозначает обладание личной честью, то есть как бы девиз – не тронь! не смей сказать мне: ты! а тем более – ударить! ни-ни!

В России такая привилегия, пожалуй, дороже самой жизни. Поэтому зарплата к ней прилагается почти символическая – сущие гроши. Конкретные цифры, впрочем, варьируют: Башмачкину платят в год четыреста рублей или около того, Девушкину в «Бедных людях» – что-то такое шестьсот, Мечтателю в «Белых ночах» – тысячу двести, – в общем, на уровне прожиточного минимума.

Конечно, это как посмотреть. Для водоноса это деньги огромные. Но водонос-то ходит зимой в трехрублевом зипуне, а чиновничью шинель меньше чем на восемьдесят не построишь. Положим, зипун или там тулуп гораздо теплей, но в зипуне – какая вам честь? натягивайте тогда уж и шапку и падайте, падайте, куда жутко и взглянуть – обратно в бессмысленную массу; будете, как тот, в изношенном картузе, бедолага, у которого утонула в наводнение невеста:

... ни зверь, ни человек,  
Ни то, ни се, ни житель света,  
Ни призрак мертвый...

Нет уж! Лучше смерть. Поэтому Маленький Человек – невольник формы.

Собственно, за эти-то муки литература и полюбила его (а он ее – за состраданье к ним): беден, как народ, а притом наделен сознанием – хотя бы сознанием собственной бедности. Выводит, несчастный, следствия из причин: типа того, что и невеста не просто так утонула – Бог дал, Бог взял, – а в результате внешней политики Петра I.

И некуда ему, прозябая в нищете, девать свою грамотность, и пресловутое чувство чести, да и просто – свободное время.

После службы валяется в коммунальной своей конуре – на пятом каком-нибудь этаже – на турецком так называемом диване – клеенчатом, красноватом, в зелененьких цветочках, – и мечтает, представьте себе... о крестовых походах или о дружбе с Гофманом; «об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного» и прочий вздор. Собственно говоря, не мечтает, а фантазирует. Сочиняет в уме. Сам себе телевизор.

В хорошую погоду бродит по городу, разговаривает с домами. «Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!..»

Всегда одинок, и всегда один; а если как-нибудь случайно и познакомится, предположим, с девушкой, то непременно с падшей, либо, так сказать, падающей, – и ринется спасать и жертвовать собой, – и, разумеется, выйдет конфуз, и много горя от благородства, и в эпилоге – пронзительный аккорд: «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

А жениться нельзя, никак невозможно: во-первых, не позволяет честь, во-вторых – бюджет, в-третьих – начальство.

И не только при зловещем Николае Палкине, но даже и в эпоху великих реформ, при Александре Освободителе:

«– Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» – «Двенадцать рублей в месяц». – «Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть благоприобретенное, родовое?» – «Нет, ваше превосходительство». – «Так это вы нищих плодить собрались? – закричал директор. – Ни за что не дам свидетельства на женитьбу... Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, каналы! Вы хотите государство обременять!..»

### Постскрипtum

Такое странное существо, как Маленький Человек, могло возникнуть не иначе, как из петербургских туманов...

Это был город фасадов, ландшафт для иностранцев – пусть видят: вот, у нас все как у людей, северные Афины, и оштукатурено под мрамор. А за этими фасадами копошилась оргтехника – говорящие, даже пьющие ксероксы в вицмундирах, разные башмачкины и девушкины оповещали пространство империи о благих намерениях властей. Петербург был построен для размножения документов. Переписал десять тысяч бумаг, исходящих и входящих, кончились чернила – спи спокойно, бедняга Башмачкин-Девушкин, на Митрофаньевском каком-нибудь кладбище, пока его не разорят.

После изобретения пишущей машинки Маленький Человек не то что сошел на нет, а как бы растворился в городской толпе, стал жить, как все. Последний раз он явился в литературу даже под женским именем: Софья Петровна в истории про то, как у машинистки издательства был сын, единственный и любимый, восемнадцатилетний, – а в 1937 его посадили в тюрьму (естественно, за терроризм – за намерение убить Великого Вождя). И как она, в точности наподобие Акакия Акакиевича, обивала пороги значительных лиц...

Есть, говорят, где-то под Токсовом огромный полигон для корабельной артиллерии. Необозримый такой пустырь, по которому десятки лет подряд чуть не ежедневно бьют из всех калибров. На пустыре зарыты многие тысячи расстрелянных. И при каждом разрыве снаряда взлетают в воздух человеческие кости.

И там якобы тоже является иногда Маленький Человек: мечется под огнем, выкликая свою невнятную нелепицу. Все те же четыре слога: у-жо-те-бе!